

К.Н. Леонтьев

Моя литературная судьба

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94
ББК 63.3-8
К11

К11 **К.Н. Леонтьев**
Моя литературная судьба / К.Н. Леонтьев – М.: Книга по Требованию, 2021. – 42 с.

ISBN 978-5-4241-3046-5

Константин Николаевич Леонтьев - выдающийся русский философ, публицист и писатель, поздний славянофил.

Считая главной опасностью современной цивилизации либерализм с его "омещаниванием" быта и культом всеобщего благополучия, Леонтьев проповедовал "византизм" (церковность, монархизм, сословная иерархия) и союз России со странами Востока как охранительное средство от революционных потрясений.

ISBN 978-5-4241-3046-5

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© К.Н. Леонтьев, 2021

Леонтьев К Н
Моя литературная судьба
(Автобиография Константина
Леонтьева)

К.Н.Леонтьев

Моя литературная судьба

Автобиография Константина Леонтьева

МОЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СУДЬБА[1]

Автобиография Константина Леонтьева

Ars Longua, Vita Brevis!

Приезд в Москву и поступление в Угрешскую обитель* Посвящается друзьям и поручается С.П. Хитровой 1874-1875 гг.

I

Из Калуги по окончании всех дел по имению мы с Георгием в Ечкинском тарантасе доехали до Ивановской станции, отсюда по железной дороге до Москвы. Сначала я занял порядочный номер в Лоскутной гостинице Мамонтова. Первое мое посещение было опять Иверской Божьей Матери. Я просил (конечно!) о продлении моей земной жизни и о том, чтобы в делах литературных мне суждено было наконец узреть правду себе на земле живых. Я надеялся и не унывал, но до сих пор, как оказалось, напрасно. Мне опять пришлось видеть искреннее сочувствие и слышать самые лестные похвалы от одних людей и самую странную несправедливость, самое убийственное равнодушие от других, именно от тех, кто мог что-нибудь сделать. Со мной была первая и совсем исправленная часть книги "Византизм и славянство", которую я собирался отдать на прочтение Погдину и другим славянофилам. Были еще с весны взятые мной у княгини Лини Матвеевны Голицыной рекомендательные письма к княг. Трубецкой и кн. Черкасскому. Еще были у меня отрывки из второй части Византизма, которая еще неисправленная лежала у Каткова, и начало второй части Одиссея, которую я почти насильно принуждал себя писать, гостя в августе в Оптиной Пустыни. Такой обширный, объективный труд требовал большого досуга воображению; нужно в таком произведении, чтобы оно вышло недурно, обдумывать беспрестанно все, даже самые внешние обстоятельства, иногда и вовсе придумывать их, сообразуясь с местностью и другими возможностями. Героя я выбрал неудобного: красивого и умного юношу, загорского купеческого сына, но боязливого, осторожного, часто хитрого, в одно и то же время и расчетливого, и поэта, как многие греки. Все изображается тут нерусское: надо большими усилиями воображения и мысли переноситься в душу такого юноши, становить себя беспрестанно на его место, на котором я никогда не был. Русские люди являются тут уже совсем объективно: в числе других лиц разных наций и вер. Не надо чрезмерной идеализацией русских внушать к себе недоверие; а вместе с тем самая правда жизни, сам реализм (хорошо понятый) требует давным-давно (с самых времен Онегина и Печорина) возврата к лицам более изящным или более героическим. Сам Тургенев насилу-насилу доработался до Лаврецкого и до блестящего отца в "Первой любви". Гр. Л. Толстой насилу-насилу решился создать Андрея Болконского. До того всех опутала тина отрицания и гоголевщина внешнего приема. К тому же разнообразных лиц -- турок, греков, европейцев в Одиссее много. Понятно, сколько умственной свободы, сколько досуга воображения надо, например, чтобы, с одной стороны, сократить до размера других лиц консула Благова, который как бы составлен из Ионина, Хитрова и, разумеется, меня самого, а с другой, расширить и отделить друг от друга мусульман, действующих в романе. Мы так мало знакомы с мусульманами, нам так трудно узнать живые

черты их домашнего быта, их всех так легко можно сделать на одно лицо, что изображение их требует несравненно большего внимания, чем изображение греков, которые хотя весьма несхожи с нами психологически, но имеют с нами так много общего в историческом воспитании, в религиозных ощущениях и т. д.

А молодого русского консула -- светского человека и художника по натуре, которого многие любят в книге и которого я сам люблю -- изобразить трудно по противоположной причине: слишком легко впасть в безличную идеализацию своих собственных хороших чувств, приятных воспоминаний и даже некоторых из тех хороших свойств, которые автор знал и создавал в самом себе. Я вовсе не хочу нападать на несколько безличную и возвышенно бледную идеализацию; напротив того, она, пожалуй, и есть художественный идеал мой, по естественной реакции против гадкой и грубо осязательной мелочности, в которую впадает большинство лучших писателей нашего времени (особенно англичане и русские, французы теперь лучше). Но... Мадонна, почти иконописно идеализированная хоть бы кистью Ingres'a, была бы вовсе не на месте на хорошей реалистической картине Ге. Ее надо изобразить особо, на другом полотне. Вот это все надо обдумать, обсудить, схватить и поскорее написать... Надо, чтобы роман был бы хоть сносен в моих собственных глазах, прежде всего ("Ты сам свой высший суд"). Больше я от Одиссея и не требую; это не "Генерал Матвеев", которого я обожаю и которого хотел бы довести до высшей степени совершенства. Одиссей вовсе не любимый сын мой; я вижу в его манере очень много обыкновенного, но я хочу, чтобы и он держал себя в обществе, по крайней мере, прилично. Нельзя чтобы мой сын был просто слит из газетных известий и т. п., как антипольские романы Крестовского, или подслуживался бы только Катковской умеренной морализации, как напрасно и неудачно поднятый "Вопрос" т. Маркевича (я говорю так потому, что именно те лица, которые Маркевич хотел более осудить -- мать и гвардеец, вышли милее и понятнее других, особенно этого урод-сына. Вот почему я говорю, что мне Одиссея кончать трудно. Надо много мыслить, а я утомлен нестерпимо и мне хочется только думать. А если уже мыслить, то над чем-нибудь более решительным, над "Прогрессом и развитием" и т. п., а не над жизнью маленького Эпира, сколько бы в ней ни было грации и оригинальности. Итак, я в Оптиной едва-едва мог написать две главы, как неотложные по имению дела уже вызвали меня в Калугу.

В гадкой редакции на Страстном бульваре что-то переделывали, и Катков в это время (в конце сентября? в начале октября?) был в своем Михайловском дворце. В редакции секретари мне сказали, что вторую часть "Византизма" он взял с собой и читает ее.

Я был в этом дворце еще летом, и горбатый Леонтьев угощал меня там под вечер плохим и слабым чаем.

У меня сердце (художественное сердце) разрывается, когда я смотрю на это жилище, заселенное теперь Катковым и Леонтьевым! (Хотя последнего я и люблю до известной степени.)

Я не знаток декоративной археологии и никак не могу вспомнить, в каком старинном вкусе отделан этот маленький дворец (или скорее прекрасный барский дом) во вкусе реставрации, гососо или Pompadour -- не знаю. Но знаю, что глаз отдыхает на этих гостиных с расписными потолками, со свежей изящной мебелью

не нынешнего фасона, с мраморными столами, яшмовыми вазами и т. п. Кажется есть и штоф на стенах. Здесь бы Хитровым принимать гостей; ибо одно дело их недостатки, их пороки даже, и другое дело их декоративность. Породистая, дорогая собака кусается иногда; можно прятаться от нее, можно ее прибить, убить, толкнуть (как иногда и я старался бывать и толкать словами Хитровых, когда они уж очень бывали злы или невежливы в своей изящной *grerotence*), но нельзя же сказать, что собака неумна, некрасива, не декоративна оттого, что она меня укусила. А если приручить ее (как мне удалось под конец моей жизни в Царьграде приручить немного Хитровых, то лаской, то дракой, то терпением), -- то воспоминание остается очень хорошее. Я как увидел летом этот дом, снаружи пошлый, но внутри очаровательный, так мне сейчас же пришли на ум все эти гостинные *Rambouillet*, *Dudeffand*, *M. Recamier*, *Stael* и т. д., в которых встречались военный и дипломатический гений, литературный дар, поэзия и мысль, остроумие и облагороженные страсти. Я подумал, кого бы я желал здесь видеть?.. И не нашел никого удобнее для этой цели Софии Петровны Хитровой... Пусть бы она в этом доме являлась: то в своей длинной белой блузе с розовыми и палевыми бантами, которую она надевает будто бы от усталости, или в том темно-лиловом платье и свежих розах, в которых она ездила со мной в Ишатъевскую больницу...

Пусть бы она тут играла с Ветой, пусть бы рисовала (стараясь только нижнюю часть лиц не так укорачивать), пусть бы читала стихи Толстого, пусть бы говорила дерзости; то выгоняла бы доброго Зыбина Бог знает за что? за то только, что он водевильный *jeune-premier*; слушала бы мое чтение по вечерам, восхищалась бы моим умом... Чтобы Цертелев был тут, чтобы мадам Ону сверкала умом (но только, чтобы она не говорила с хозяйкой дома о воспитании детей!), чтобы Губастов лукаво молчал на кресле...

Пусть бы непреклонный юрист, ее муж, переводил бы здесь Гейне, показывал бы нам свой стан, выправленный и личною гордостью, и кавалерийской службой, свой профиль германского рыцаря, свой славянский дух (хотя бы и не всегда верно понятый), свой взгляд *Cesar Bordjia*, свою хладную закоснелую ярость на всех чем-нибудь высших и даже равных ему, свою снисходительность к Нико, Джою или Перипандопуло[2]... Пусть бы даже он и мне по-прежнему говорил 1000 неприятностей, вздора и неправды (притворяясь большею частью, что не понимает меня)... все это было бы кстати в таком изящном доме... И вдруг вместо монументального Хитрова здесь передо мною умный, благородный, но все-таки горбатый однофамилец мой... Вместо Софии Петровны Хитровой, в которой соединены изумительно лейб-гусарский юнкер и английская леди, мать и супруга, японское полудетское личико и царственная поступь, злость и самая милая грация, восхитительное косноязычие и ясный, твердый ум... вместо всего этого... другая... и вообразите тоже Софья Петровна... Каткова. Впрочем и сам Катков с годами стал не только ужасно неприятен характером, по свидетельству даже всех служащих у него в редакции, но сверх того... я не знаю как сказать... как-то сер... Мне все кажется, что и с него и со всех его вещей в его кабинете надо долго сметать пыль. Впрочем, и направление его, чем дальше, тем серее. Придется еще раз цитировать Хитрова, который сказал мне про него и Царьграде: "Помни, бгат, что и Катков сам вступил уже в пегиод втогичного упрощения". Правда, может быть невольно сознавая это, он оттого и раздражен. Хорошо! Но что сказать об

этой России, от которой мы все имели наивность ждать так много, если вспомним, что Катков и Русский Вестник просто заменить нечем... И не видать до сих пор ничего возникающего. О чем думают люди молодые, отказавшиеся от нигилизма -- представить себе нельзя... Или это центров нет, хоть есть и люди; или это пройдет? Но когда ж оно пройдет?... А жизнь, видимо, пошлет от прогресса... Вот и человек свежий, молодой, которому еще все улыбается и везет пока, Церетелев и тот это говорит о Москве. Славянофилы говорили мне почти то же самое. Федор Николаевич Берг (Боев) говорил мне, что если бы Катков умер или Вестник закрыли, то печатать просто будет негде человеку со вкусом, или убеждениями (не либеральными, разумеется, ибо непонятно, чтобы человека со вкусом не тошнило бы от нынешнего развития либеральности). Либеральный нигилизм так развит в Петербурге, что им питаются несколько изданий (Вестник Европы, Отечественные Записки, Дело, кажется, Биржа, Петербургские Ведомости и т. д.). Вот и хваленая молодость России... Я, признаюсь, за последние годы совершенно разочаровался в моей отчизне и вижу, напротив, какую-то дряхлость ума и сердца... не столько в отдельных лицах, сколько в том, что зовут Россия. Чтобы она немного помолодела... боюсь сказать... что нужно... быть может, целый период внешних войн и кровопролитий вроде 30-летней войны или, по крайней мере, эпохи Наполеона 1-го. Надо приостановить надолго эту развешивающую, внутреннюю, практическую лихорадку.

Довольно обо всем этом! Теперь опять о себе... Итак, после молитвы у Иверской, я поехал к Каткову в Михайловский дворец, на Остоженку. Это было воскресным днем; тотчас после поздней обедни, которую я отслушал в Кремле. Человек Каткова сказал, что и он, и Леонтьев -- оба еще в церкви в Коммерческом училище. Полагая, что они скоро вернутся, я пошел пока, но тотчас же на улице встретил Каткова. Он был окружен многочисленными дочерьми и вел за руку маленького сына в русской одежде. Меня это не особенно тронуло. Он увидал меня и улыбнулся мне своей натянутой улыбкой, в которой никогда я не видал ни добродушия, ни искренности, а всегда лишь одну притворную любезность. На дворе его сын задержал нас несколько времени: он куда-то просился уйти с сестрами. Наконец Катков отпустил его. Мы пошли в кабинет (хороший, вероятно, потому, что они еще жили тут временно и не успели ничего испортить). Нам подали кофею и я объявил ему, что приехал в Москву с целью заниматься у него при журнале, если условимся. Я сказал ему вот что: -- Не знаю, когда именно я поступлю в тот монастырь, о котором я говорил вам летом[3]. Я не могу даже ручаться, примут ли меня туда так, как я бы желал. Я бы предпочел лучше эту зиму всю прожить тут в Москве; только у меня нет денег, чтобы жить. Пенсия моя мала, и она назначается для других целей. Мне, чтобы жить одному в Москве, надо, по крайней мере, 250 рублей в месяц.

-- Вы нам много должны, -- сказал Катков, -- около 4000 р. Такую сумму, 250 руб., выдавать помесечно, как жалованье, нам неудобно. Это у нас не в обычае. Я настаивал, что иначе просто нельзя. Я доказывал и говорил ему долго. Он слушал внимательно и думал. Потом сказал:

-- Конечно, работа может быть разная. Вы можете заняться политическим отделом, не только по восточным делам, но и вообще. Иногда при редакции бывает вот что. Все материалы собраны, все готово; нужно только бойкое литературное перо, чтобы это все объединить, округлить... Вы обладаете вполне таким

пером и для вас в редакции всегда найдется работа.

Так рек Михаил Никифорович, московский публичный мужчина, по выражению Герцена, которого он за это и ненавидит до самой возмутительной несправедливости. Чтобы не упрекать себя после за какое-нибудь практическое упущение или недогадливость, я на всякий случай поговорил с ним еще и о возможности возвратиться на службу, напр., хоть при Московском Архиве Иностр. Дел, или получить то место в 3000 рублей (в Синодальной типографии), о котором мне в Калуге, как о вакантном, говорила одна моя знакомая К.Н. Д-ва. Я говорил, что боюсь только потерять после пенсию, ибо служить долго все-таки не хочу, а лишь столько, сколько бы нужно для окончания некоторых дел. (Конечно, прежде всего литературных: я ужасно боялся, что в монастыре мне решительно запретят писать повести, а у меня до сих пор столько самых грациозных сюжетов из восточной и много оригинального в памяти из русской жизни. Эта боязнь утратить право на последнюю земную отраду моей жизни больше всего боролась во мне с жадной удалиться в обитель.)

Говоря Каткову о возможности возвратиться на службу, я имел в виду две цели: одна была та, что он мог помочь мне легко в приискании места; П.М. Леонтьев, сообщали мне, почти друг с обер-прокурором Синода Толстым, а место в Синодальной типографии зависит от обер-прокурора. А другое побуждение было вот какое: мне бы очень неприятно было, если бы Катков и Леонтьев сочли бы меня одним из тех несчастливых идеалистов и бестактных людей, которые ссорятся с начальством, теряют хорошие должности, из-за пустяков бросают службу и т. п. Мне самому такие люди противны и жалки не в хорошем смысле, а в худом, особенно когда они имеют какие-то воображаемые убеждения... И я никогда бы не променял своей службы на поденное писательство, если бы не клятва пойти в монахи. То поденное писательство, на которое я теперь почти решался, я считал лишь горькой и временной, унижительной необходимостью. Я не хотел, говорю, чтобы эти люди думали, что я поссорился с министерством или что меня удалили за ошибки и непрактичность. У меня, я знаю сам, такой вид, что как раз, не зная меня коротко, можно эту гадость подумать. Даже Ону, который давно меня знал, говорил мне своим билатеральным голосом (я впрочем в нем этот голос, по личному уже к нему некоторому пристрастию, очень люблю): *Je m'e-tonne, mon cher, comment vous, un homme de tout d'imagination, comment faisiez-vous pour etre un consul tres modere et tres pratique... Et vos ecrits politiques sent aussi excessivement positifs... Voyez-vous je suis un homme pratique...*[4] и т. д. На это я ему отвечал смеясь: *"C'est fort simple... Cela vient de ce que je suis tres bien doue et de ce que j'ai en moi toute une masse de ressources varies"*[5]. Но другое дело мой милый Ону и другое дело московский "публичный мужчина", с которым я желал бы всегда иметь лишь одни коммерческие отношения. Я может быть и ошибаюсь, но мне показалось, что он в 69-ом году, когда я приезжал в Москву на четыре дня консулом, был как будто внимательнее и любезнее со мной. По всему этому мне хотелось, чтобы он не считал меня вполне от себя зависимым и себе слишком обязанным и чтобы думал, что я и с нашим министерством остался в хороших отношениях.

Он похвалил эту мысль служить в Москве и сказал, что занятиям у него это, конечно, мешать не будет.

Он назначил мне через несколько дней свидание в грязной своей редакции, и

мы расстались. В большой гостиной я увидел с кем-то посторонним моего горбатого однофамильца. Он почти вскочил и подошел ко мне с большим *embressement* и с улыбкой всегда гораздо более живой и искренней, чем гадкая улыбка его знаменитого коллеги. Я поздравил его с недавним спасением (от револьвера Каткова-брата) и он, по-видимому, принял это хорошо. Он мне нравится давно, уже гораздо больше Мих. Н-ча.

Я уехал с Остоженки и еще раз мысленно и в теории изгнал их всех: Mad. Katkow en bete из прекрасного жилища и снова населил его Хитровыми, Игнатьевыми, Ону, Нелидовыми, Мурузи (вопреки Цертелеву и Зыбину) и т. д. Все эти люди могут иметь свои недостатки и несовершенства, но это живое общество, а не ученое, скучное хамство... Эти люди, с которыми дышится легко даже и в минуту распри. Теперь я с радостью оставляю редакцию и поговорю немного о других моих встречах в Москве. Иные из них гораздо лучше и занимательнее редакционных дел. Редакции -это кухни, или еще хуже -- клоаки, ватерклозеты литературы. Что делать! теперь без них и поэзия невозможна. Я говорю -- теперь, ибо были же счастливые времена, когда столько великого и столько изящного люди создавали и распространяли без помощи ватерклозетов. Прощаясь, хотя к несчастью и не надолго с Катковым, я замечу мимоходом, что у других редакторов еще обстановка, по крайней мере, лучше. Напр., редакцию Голоса можно назвать отхожим местом морально, ибо здесь царствует демократическое зловоние самого лукавого и подлого оттенка; но, по крайней мере, у Краевского в доме хорошо, на банкирский буржуазный манер, на средне-петербургский, но все свежо, очень чисто, просторно и не без вкуса; и сам Краевский, когда я его видел в 60-х годах, производил какое-то скорей приятное и веселое впечатление неглупого и ловкого вивера. А у Каткова, как я уже говорил, все ужасно серо, криво, косо, грязно и противно... II

Здесь должна следовать глава о других встречах моих в Москве. Эти встречи были, может быть, важны для жизни сердца моего и в смысле воспоминания о прошлом моем (например, встречи мои с несколькими прежними крепостными нашими, которые все были чрезвычайно рады меня видеть), но я пока оставляю это и хочу заняться лишь теми людьми, которые прямо были связаны с литературной моей деятельностью, и теми обстоятельствами, которые меня привели в монастырь скорее, чем я хотел и ожидал.

III Около этого же времени в редакции Каткова я встретил Федора Николаевича Берга (того, который пишет теперь под именем Боева). Я его прежде в лицо не знал, хотя в 60-х годах мы оба были долго вместе в Петербурге[6]. Литературно я больше всего познакомился с ним по его Путешествию в "Заре". Я помню, мне там многое понравилось; во-первых то, что он вовсе не всем восхищается в нынешней Европе и, видимо, предпочитает остатки старой; вовсе не все ему кажется там комфортабельным и, наконец, он даже паспорта русские хвалит; а я тоже рад и паспортам и всему тому, что хоть чем-нибудь отделяет нас от современной Европы, хотя бы это что-нибудь и само было западного источника. Что касается до мнения Берга обо мне как о писателе, то он принадлежит к числу тех рассеянных по лицу земли моих почитателей, которых, как я с каждым днем убеждаюсь, вовсе не мало, хотя мне от этого и ничуть не легче в литературном отношении.

В 69-м (кажется) году Берг, встретивши мою племянницу Машу у Кашпире-

вых на вечер в Петербурге, сказал ей, что он в восторге от статьи моей Грамотность и Народность ("Заря"), называл эту статью "высокохудожественной" и собирался даже, не будучи знаком со мной, писать ко мне и благодарить меня за нее. В первые же недели моего приезда в Москву мы познакомились в редакции. Катков перебрался уже на свою ужасную лестницу в университетской типографии. Я пришел раз туда и увидел, что какой-то высокий молодцеватый мужчина средних лет, свежий, белокурый, немного немецкой физиономии, говорит с Катковым. Потом ко мне подошел кто-то и сказал: "Ф.Н. Берг просит меня познакомить его с Вами". Мы поговорили; потом он зашел ко мне, и мы после двух посещений стали как свои люди. Он приехал в Москву по делам на время: он долго прожил в каких-то лесах Олонецкой, Архангельской или Вологодской губернии.; там, говорил он, у него лесопильный завод. Он уехал, по-видимому, туда в 60-х годах, именно около того времени, должно быть, когда все, что любило изящное и поэзию и не успело составить себе положения прежде, бросило в отчаянии искусство, эстетику, бежало из России, умирало, шло в Польшу и т. п., это было то время, когда я, промучившись с полтора года в Петербурге, уехал в Турцию, когда Аполлон Григорьев совсем спился с горя и в самом Петербурге пропадал долго без вести, когда Вс. Крестовский поступил в юнкера, скульптор Шредер разбил свои глиняные *chef d'oeuvres* и бежал в Бразилию и т. д.

Берг сказал мне, что все мои сочинения у него собраны и переплетены особо. Он сказал мне также, что Вс. Крестовский, друг его, в "Русском Вестнике", прежде всего, ищет моих повестей. Говорил много и другого в таком же духе. Он уговорил меня оставить гостиницу Мамонтова и перейти на Тверскую в новую и небогатую гостиницу "Мир", которую держит очень добрая француженка мадам Шеврие. "Это будет, -- говорил он, -- гораздо дешевле и лучше потому, что с ней можно лично сойтись и видеть от нее всякие уступки и внимание". Я ему за это до сих пор очень признателен. Правда, что в тяжелом моем положении мадам Шеврие оказалась мне не раз почти другом и чуть не благотельницей. Как только я перешел к ней и условился с ней помесечно, так мне стало полегче на сердце, и я, не откладывая больше, хотел приняться за работу помесечно для Русского Вестника или Ведомостей.

Редакцию Каткова понять не легко. Редактором Вестника, напр., считался профессор физики Любимов, главным распорядителем по Ведомостям -- некто Воскобойников. А между тем Любимов, кажется, ничего не значит, на Каткова влияния имеет мало и точно всех и всего боится. Когда мне приходилось говорить с ним о наших делах и счетах, он все жался, кидался куда-то, стыдился, не кончал фраз или кончал их испуганным топотом каким-то и ни минуты не держал головы покойно, а избегая встречи глаз, все вертел шею туда-сюда. Маленький, серый, бледный, гладко выбритый, испуганный, он со своими дюжинными речами может служить образчиком этой современной умеренно-прогрессивной, умеренно-либеральной дряблости, мелкой учености и жалкого бесцветно-профессорского джентльменства новейшего времени, которого я терпеть не могу за его бесхарактерность. Кривой, старый хохол и хитрый кутейник Бодянский, который живет как часы или как Кант, мне гораздо больше нравится.

Что касается до Воскобойникова, то он не так боязлив, по-видимому, как Любимов, но сказать, что он такое со своими Усами -- еще труднее. Так, что-то такое нынешнее, скучное.

Я слышал, что он хороший исполнитель у Каткова, но сам ровно ничего не значит. Катков сказал мне, что определенного жалования помесечно давать нельзя, ибо нельзя знать, какая будет нужна работа. "А работа для Вас всегда найдется у нас,

-- сказал он еще раз. -- Можно будет политику Вам поручить". Он сказал мне, чтобы я поговорил с Воскобойниковым, не найдет ли он мне дела в газете. Легко сказать у них: "поговорите с тем-то", но где и когда? Все они до того спешат, до того озабочены, что только добиваться встречи и разговора, и то уже какая-то унижительная мука для человека, непривычного к суетам и нытью литературного пролетариата.

Я раза два-три просиживал в редакции по несколько часов; работы мне никто никакой не предлагал; я думал, что у них будет так же, как у нас в министерстве или в посольстве. Пришел человек 1-й, 2-й раз на службу; сейчас ему дают работу и он спокоен, и дело идет. Он скоро может представить доказательства своей аккуратности, прилежания, ума. Но я напрасно ждал неделю, напрасно просиживал в редакции, теряя время, дорогое мне для романов и больших статей, целые утра. Все секретари и мелкие сотрудники, корректоры, ломовые чтецы иностранных газет, разные художественные фигуры, молча что-то умеренно-прогрессивное мыслящие в углах, знали свое дело, а я все не узнавал и никто мне его не указывал. Скудный Воскобойников с усами, у которого я наконец имел счастье просидеть около часа в кабинете, сказал мне так: "Трудно теперь найти такое занятие, которое давало бы рублей 200 в месяц. Но прежде всего советую Вам иметь инициативу, тот из сотрудников, кто сам задумал написать что-нибудь для газеты или журнала, не обратится к Вам, а предложит Каткову свои собственные услуги". Я задумался немного и сказал ему: "Не написать ли что-нибудь по поводу "Складчины", которая была издана в пользу самарцев. Хотя это и не новость, но я только недавно прочел ее и меня поразило в этой книге вот что: все, что в ней история, воспоминание, правда, то представляет русскую жизнь скорей в хорошем виде, чем в дурном. Все, что в ней вымысел, творчество носит отрицательный, грубый, насмешливый или плоский характер. Это замечание я сделал уже давно; я уже давно говорю, что если французская литература ищет всегда возвысить тон и краски изображаемой жизни, то русская, напротив, никак не может даже и до реальной жизни дорасти. Сначала Гоголь приемами, а революционеры позднее и настроением точно будто атрофировали, заморозили нас, подстригли нам крылья, и в этой книге "Складчина" из очерков и повестей только и есть две неотрицательных; Кохановской -- Кроха словесного хлеба и Тургенева -- Живые мощи. Да и то "Живые мощи" очень грустны. Это вопрос очень интересный и капитальный; в такой статье можно коснуться кратко всей нашей литературы за последние 20--30 лет. Не надо называть статьи "О Складчине", а по поводу книги "Складчина" Воскобойников сказал: "Это правда, что в этом смысле много можно интересного сказать. Но эта статья будет велика, ее надо в Вестник, а в дела Вестника я не мешаюсь. Там г. Любимов; поговорите с ним; я не имею там влияния. Он другое дело, он профессор, генерал, действительный статский советник. Поговорите с ним". Кончился Воскобойников.

Опять Любимов. Надо было дня два-три бегать по Москве искать его. Все это еще в первые две-три недели после моего приезда; где ж мне было примениться к тому, когда и где всех этих людей застать.